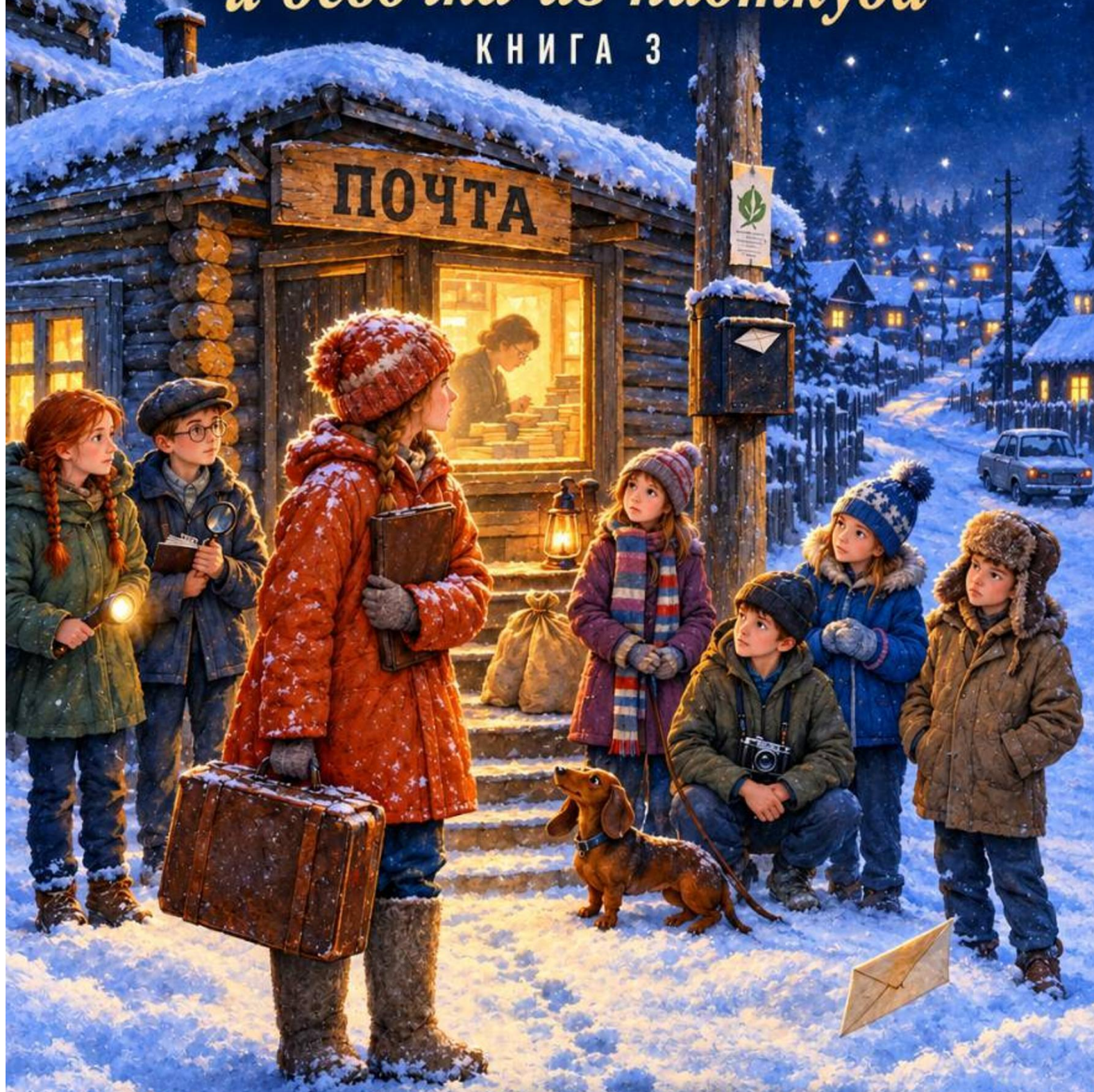


ОТВАЖНАЯ СЕМЁРКА

7

и девочка из ниоткуда

КНИГА 3



ДМИТРИЙ ТАЙНОВ

Дмитрий Тайнов

**Отважная семёрка и
девочка из ниоткуда**

«Автор»

2026

Тайнов Д.

Отважная семёрка и девочка из ниоткуда / Д. Тайнов — «Автор»,
2026

В январе у дома на Заводской, семь, останавливается серая машина. Из неё выходят женщина с кожаной папкой и девочка одиннадцати лет. Девочка говорит: «Мы ваши. Мы Гуцины». В папке — свидетельство о рождении, восемь писем с Севера и фотография человека, который уехал отсюда в шестьдесят первом и не вернулся. Если это правда, у седьмой доли дома наконец есть хозяйка — а значит, дом можно продать. Клуб «Отважная семёрка» берётся проверить: точно ли она внучка, чьи это письма, откуда на фотографии крыша, которой в шестьдесят четвёртом не было, и кто двадцать лет держал в коробке из-под чая девятое письмо. У взрослых — деньги, бумаги и срок до весны. У клуба — семь фонарей, лупа, такса Бублик и привычка считать всё, что видят. Все улики предъявлены читателю вовремя: разгадать можно раньше героев. Для детей 7–11 лет и для тех, кто читает вслух.

© Тайнов Д., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Глава 1. Снег на Заводской	5
Глава 2. Мы Гущины	11
Глава 3. Свидетельство	16
Глава 4. Восьмая доля	21
Глава 5. Таня	27
Конец ознакомительного фрагмента.	33

Дмитрий Тайнов

Отважная семёрка и девочка из ниоткуда

Глава 1. Снег на Заводской

Снег пошёл в ночь на четвёртое января и шёл двое суток.

К утру посёлок стал другим: заборы стали ниже, магазин стал дальше, а дорога — узкой белой полосой, по которой ездил один трактор и оставлял след, похожий на след от огромной расчёски.

Дом на Заводской, семь, стоял в снегу по самые окна.

Первым это заметил Бублик.

Он вышел утром на крыльцо, поставил передние лапы на верхнюю ступеньку, посмотрел вниз — и не пошёл.

— Чего? — спросила его Поля.

Бублик не ответил. Он вообще никогда не отвечал, но в этот раз сделал хуже: сел и стал смотреть на сугроб так, будто это был не сугроб, а чужая собака.

— Бублик. Тут просто снег.

Он повернул голову и посмотрел на неё с очень большой жалостью.

Снег был ему по грудь. То есть по самый хвост.

Поля взяла его на руки и понесла через двор. Бублик всю дорогу держал лапы не вниз, а в стороны, как будто летел, и один раз даже зажмурился от удовольствия.

— Ты не самолёт, — сказала Поля. — Ты просто толстый.

Бублик лизнул её в подбородок, потому что это он считал ответом на всё.

Зимой клуб собирался в пристройке у старика.

На чердаке было холодно, в сарае тоже холодно, а в пристройке топили печь, и у печи можно было сидеть втроём на полу и вчетвером на табуретках, а если принести ещё одну табуретку из дома, то и вшестером.

Старик сидел тут же, в углу, держал палку и, судя по всему, считал всех по голосам.

— Ты кто? — спрашивал он, когда кто-нибудь входил.

— Гриша.

— Это который с пузырьками?

— С пузырьками.

— Проходи, пузырьки.

Пузырьков у Гриши не было с осени. Но спорить со стариком было бесполезно, потому что старик слышал только то, что говорил сам.

Клуб зимой стал меньше.

Лёшка уехал с матерью в город. Ромка ходил в школу во вторую смену и из-за этого не приходил почти никогда. Вера через день оставалась с младшими, и её отпускали только к вечеру. Оставались Маша, Поля, Гриша, Тимка, Севка, Вера через день и Витя, который приехал на каникулы и жил у бабы Нюры.

— Нас всё время шестеро, — сказал Севка. — То шестеро, то шесть с половиной. Значит, мы уже не семь.

— А мы никогда и не были семь, — сказала Маша.

— Как это?

— А так.

Севка думал об этом весь вечер, а потом сказал:

— Тогда переименовывать надо.

— Что?

— Клуб. Если нас не семь.

— Севка, — сказала Маша. — Нас семь.

— Ты же сама сказала.

— Я сказала, что мы никогда не были семь по числу. Мы семь по огням.

Тимка засмеялся. Гриша пошёл записывать.

— Хорошо, — сказал Севка. — Семь по огням. А огней сколько?

Все посчитали. Огней было семь.

— Вот, — сказала Маша. — И не начинай.

— Я и не начинаю. Я уточняю.

Дела не было.

Это было хуже всего и это было честно: после лета, когда в доме жило семь имён, а на тропе горело семь фонарей, зимой в посёлке ничего не происходило.

Снег. Школа. Снег. Ужин. Снег.

— Мы расследователи, — сказал однажды Тимка. — А расследуем что?

— Ничего.

— Вот это и плохо. — Он вздохнул и подул на объектив. — Я даже снять ничего не могу.

— Сними снег.

— Я его уже снял.

В доме на Заводской всё было хорошо.

В пристройке жил Фёдор Ильич, ходил в телогрейке и всё время что-то чинил. А когда не чинил, сидел у печки и выдавал гвозди. Захар два раза в день проходил мимо с керосином, здоровался и не слышал, что ему отвечают.

На кухне, у двери, висело расписание, написанное Гришей ещё в сентябре:

«Понедельник — Петровна. Вторник — Ветровы. Среда — Коростелёвы. Четверг — Гуцины. Пятница — Спирины. Суббота — Малышевы. Воскресенье — кто-нибудь».

А рядом, на гвозде, висел пустой листок, и в левом верхнем углу у него был приколот маленький зелёный значок.

— Всё-таки висит, — сказал Витя, когда приехал на каникулы.

— Висит.

— А чего ты боялась?

— Что снимут.

Зимой свет зажигали рано, часа в четыре, и это было даже лучше, чем летом.

Летом темнело медленно, и семь окон становились семью окнами не сразу: сначала одно, потом два, потом ты отвлекался — и они уже все горят. А зимой в четыре часа становилось вдруг темно, и окна зажигались все подряд, как лампочки на гирлянде, и дом на снегу делался жёлтым.

— Знаешь, что самое красивое в мире? — спросила как-то Поля.

— Что?

— Окно, которое зажгли.

Маша тогда ничего не сказала, но ночью записала это в тетрадь. У неё было две тетради: одна для клуба, другая для того, что нельзя расследовать.

Пятого января катались с горки за магазином.

Горка была не настоящая, а насыпная, из того, что намел трактор, и с неё было видно всю Заводскую от склада до моста.

Катались на картонке. Картонка была одна, поэтому очередь была длинная, и в этой очереди каждый придумывал, как убедить остальных, что ему нужно первым.

— У меня ноги мёрзнут, — сказал Витя.

— У всех мёрзнут.

— У меня сильнее.

— Почему?

— У меня ботинки маленькие.

— Витя, — сказала Вера, — ты в них с осени.

— И что? Они не растут.

Бублик сначала ездил вместе с Полей, на руках, и это было очень красиво, пока на середине горки он не решил, что пора вылезти.

Он вылез, покатился, догнал другую картонку, врезался в Севку и потом сидел на снегу весь белый, с квадратными глазами, и всем своим видом говорил: я не знаю, что это было, и я не хочу об этом говорить.

— Такса-снаряд, — сказал Гриша.

— Он не снаряд, — сказала Поля. — Он такса.

— Такса-снаряд.

— Гриша.

— Ладно. Снежная такса.

Бублик встал, отряхнулся и пошёл к горке, потому что с ним ещё не всё было выяснено. Маша скатилась последней и не стала подниматься.

Она сидела внизу, на снегу, и смотрела вверх, на горку, на красные от холода лица, на то, как они кричат друг на друга и машут руками.

Ей было двенадцать лет, и она вдруг подумала, что детство, наверное, вот такое: тебе холодно, и ноги мокрые, и все орут, и почему-то от этого ужасно хорошо.

— Маш! — крикнул сверху Тимка. — Ты чего?

— Ничего!

— А чего сидишь?

— Отдыхаю!

— Ты уже двадцать минут отдыхаешь!

— Я хорошо отдыхаю!

И тут на Заводскую въехала машина.

Это было так странно, что первым заметил Бублик.

Он сидел на снегу и вдруг вскочил, и уши у него встали торчком, и он зарычал — низко, коротко, совсем не так, как рычат таксы, когда ругаются с санками.

— Бублик, тихо.

Бублик не утих.

Машина шла медленно, потому что дорога была одна колея. Она была чужая: не «Нива» Вадима, не Петровнин зять на своей, а маленькая серая городская, вся в солёных разводах.

— Кто это? — спросил Севка.

— Не знаю.

Машина проехала магазин. Проехала дом Петровны. Проехала пустой двор Спириных.

И остановилась у дома на Заводской, семь.

Из неё вышла женщина.

Она была в длинном пуховике и в вязаной шапке, и она сразу стала вытирать лоб рукавицей, будто ей было жарко, хотя было минус одиннадцать.

Потом она обошла машину, открыла заднюю дверцу и сказала:

— Выходи.

Из машины вышла девочка.

Она была лет одиннадцати, в куртке не по росту и в шапке, которая закрывала глаза. Первое, что она сделала, — задрала голову и посмотрела на дом.

Долго.

— Красивый, — сказала она.

— Иди, — сказала женщина.

Клуб уже спустился с горки и стоял весь вместе, с Бубликом посередине.

Женщина обернулась.

— Здравствуйте, — сказала она. — Скажите, Анна Петровна Гущина тут живёт?

Маша посмотрела на Витю. Витя посмотрел на Машу.

— Тут, — сказала Маша. — Вон её дом, второй от магазина.

— Спасибо.

Женщина пошла, но не к дому бабы Нюры, а к калитке дома номер семь, и это было непонятно.

— Извините, — сказала Маша. — Это не туда.

— Почему не туда?

— Потому что это дом.

— Я знаю, — сказала женщина. — Я к дому и шла.

Она постояла, посмотрела на семь окон, на забитое окно, на табличку у калитки.

А потом повернулась и спросила очень просто, как спрашивают дорогу:

— Он правда ещё стоит?

Клуб не знал, что сказать.

— Стоит, — сказала Поля.

— А свет кто зажигает?

— Мы.

Женщина посмотрела на неё внимательно.

— Вы?

— Мы, — сказала Маша. — По очереди. Там расписание.

— Расписание, — повторила женщина.

И вдруг села на корточки и заплакала.

Не громко. Так, как плачут люди, которые очень устали и очень долго ехали, а в конце дороги увидели не то, что ждали, а лучше.

Девочка в шапке стояла рядом, держала её за рукав и не утешала — просто держала.

— Мам, — сказала она. — Ну мам.

— Сейчас, — сказала женщина. — Сейчас.

Она встала, вытерла лицо и сказала:

— Извините. Мы с дороги.

— Вы откуда? — спросила Поля.

— Из Норильска.

Витя, который всё это время молчал, вдруг шагнул вперёд.

— А зачем вам Анна Петровна?

Женщина посмотрела на него.

И сказала:

— Мы ваши.

— В смысле? — спросил Гриша.

— В смысле родня. — Женщина поправила шапку. — Меня зовут Ольга. Ольга Ремезова.

А это Таня.

Девочка кивнула.

— Она? — Ольга положила руку ей на плечо. — Она внучка Алексея Гущина.

На Заводской стало очень тихо для такой ветреной улицы.

— Какого Алексея? — спросил Витя.

— Алексея Петровича, — сказала Ольга. — Гущина. Который уехал в шестьдесят первом.

— Дядя Лёшка, — сказала Маша.

— Что?

— Ничего.

Витя стал белый.

Не бледный, а именно белый, как снег, и Маша впервые в жизни увидела, как человек бледнеет по-настоящему, и это оказалось быстро.

— Он не вернулся, — сказал он.

— Не вернулся, — сказала Ольга. — Он жил на Севере. Он умер.

— Когда?

— В девяносто восьмом.

Гриша потом говорил, что именно в эту секунду он понял, что расследование началось, и что предпочёл бы, чтобы оно началось летом, потому что у него были мокрые варежки.

Ольга пошла к дому бабы Нюры.

Клуб пошёл за ней, потому что одно дело быть вежливыми, а другое дело быть взрослыми, и никем из них взрослым ещё не было.

Таня шла последней.

Она остановилась у калитки дома номер семь и посмотрела на клуб.

— А вы правда зажигаете? — спросила она.

— Правда.

— Все семь?

— Все семь.

Она подумала.

— Тогда мы подошли сюда правильно, — сказала она.

И побежала догонять мать.

Баба Нюра открыла дверь с лопаткой в руке.

Она посмотрела на женщину, потом на девочку, потом на клуб — двое, трое, пять, плюс Витя, плюс такса, — и сказала:

— Ну.

Ольга Ремезова стояла на пороге и держала папку.

Хорошую папку. Кожаную. Такую, какие бывают у людей, которые всё делают правильно.

— Здравствуйте, — сказала она. — Анна Петровна?

— Я.

— Я вам сейчас покажу одну вещь, — сказала Ольга. — И вы, пожалуйста, не гоните нас сразу.

Баба Нюра открыла дверь шире.

Она ни о чём не спросила. Она посмотрела на папку, потом на девочку, и Маша увидела, как у неё дрогнули руки.

— Проходите, — сказала баба Нюра. — Все проходите. И такса ваша пусть проходит, у меня пол холодный.

Клуб остался на крыльце.

— А мы? — спросил Тимка.

— А вы, — сказала баба Нюра, — через час. Дай людям раздеться.

Дверь закрылась.

Снег шёл опять, тихий и крупный, и в нём дом на Заводской стал мягким, как на картинке.

Витя не уходил.

Он стоял и смотрел на дверь бабы Нюры, и Маша видела, как он что-то считает губами.

— Вить.

— Если она правда внучка, — сказал он, — то у меня есть сестра.

— Ага.

— И значит, — Витя повернулся, — у меня был дед. Всё это время. Пока я тут живу, у меня был дед, и он был в Дудинке, и он умер в девяносто восьмом, а мне никто ничего не сказал.

— Вить, — сказала Поля. — Ты чего?

— Ничего.

— Ты сейчас как Бублик, когда он в сугроб смотрит.

— Спасибо, Поля.

Гриша достал тетрадь и записал два слова: «дядя Лёшка». Подумал и дописал: «дед».

— Гриш, — тихо сказала Маша. — А ты понимаешь, что теперь?

— Понимаю.

— Что?

— Что седьмая доля больше не висит. — Он поднял голову. — Если она настоящая, то у доли есть хозяин. И Вадим об этом узнает раньше, чем мы успеем дойти до дома.

Снег падал.

— Значит, — сказала Поля, — мы будем проверять не её.

— А кого?

— А всех.

— Возьмите меня, — сказал Витя.

Клуб посмотрел на него.

— Если она правда внучка, — сказал Витя, — я хочу узнать это первым. А если неправда, — он сжал кулаки в варежках, — то я хочу узнать это первым вдвойне.

В этот момент в доме номер семь, в одном из окон, зажёгся свет.

Было четыре часа. По расписанию сегодня были Коростелёвы.

— Фёдор Ильич, — сказал Гриша.

— Ага, — сказала Маша.

Она смотрела не на дом.

Она смотрела на дорогу, по которой приехала серая машина, и на снег, где ещё были видны два следа — женский и детский, — и оба следа вели к дому бабы Нюры.

Глава 2. Мы Гущины

К шести часам у бабы Нюры стало не протолкнуться.

Она никого не звала. Но в Сосновке новость ходит быстрее, чем почтальон Зоя, и к шести на кухне уже сидели Петровна с табуретом, Гриша с тетрадью, Поля с Бубликом под курткой и Вера, которую мать прислала узнать, «что там происходит и не надо ли помочь».

— Помочь надо, — сказала баба Нюра. — Возьми нож и нарежь хлеб.

— А что происходит?

— А я знаю?

Баба Нюра поставила на стол чугунок. Потом второй. Потом, подумав, третий.

— Анна Петровна, — сказала Петровна. — Их же четверо.

— Их семеро, — сказала баба Нюра. — И ещё двое приезжих.

— Семеро — это клуб. Клуб не ест.

— Клуб ест, — сказала Поля.

— Клуб ест, — согласилась баба Нюра и поставила четвёртый чугунок, потому что была такая женщина: если она ставила чугунки, то ставила до конца.

Ольга Ремезова сидела с краю, не снимая пуховика.

На коленях у неё лежала папка. Она её не открывала, пока все не расселись, и Маша потом говорила, что это было самое взрослое, что Ольга сделала за весь вечер: она ждала, пока людям станет неловко сидеть просто так.

— Ну, — сказала баба Нюра. — Показывай.

Ольга открыла папку.

Внутри лежало три вещи.

Свидетельство о рождении — книжечка с гербом, потёртая на сгибе. Восемь конвертов, перевязанных аптечной резинкой. И фотография, которую Ольга потом положила сверху, чтобы всем было видно.

— Читай, — сказала баба Нюра. — Я без очков.

Петровна подала ей очки. Баба Нюра очки взяла, но не надела.

Ольга прочитала вслух:

— «Ремезова Татьяна Викторовна. Дата рождения — четвёртое марта». — Она перевернула страницу. — «Отец — Гущин Алексей Петрович».

В кухне стало тихо.

— Мать — Ремезова Ольга Андреевна, — сказала Ольга и закрыла книжечку. — Это я.

— А где он? — спросила Петровна.

— Умер. — Ольга сказала это ровно. — В девяносто восьмом. В Дудинке.

— А раньше? — спросила Петровна. — Раньше-то вы где были?

— В Норильске.

— Двадцать шесть лет?

— Двадцать шесть лет.

Таня сидела рядом с матерью и держала руки под столом.

Она не смотрела ни на свидетельство, ни на конверты. Она смотрела на бабу Нюру, и лицо у неё было такое, будто она решает: обрадуется эта женщина или нет.

Поля потом сказала, что вот это был первый настоящий вопрос всей зимы, хотя Таня ничего не спросила.

— Дай, — сказала баба Нюра.

Она взяла свидетельство двумя руками, как берут что-то очень старое или очень дорогое, поднесла к лампе и стала читать — медленно, водя пальцем по строчкам, хотя очки висели у неё на шнурке.

Потом перевернула его и посмотрела с другой стороны. Там ничего не было.

Потом посмотрела на номер бланка. Долго.

— У меня такое же было, — сказала она. — В шестьдесят первом. Только бумага другая.

— Так это же шестьдесят лет назад, — сказал Гриша.

— Ну и что.

— Просто бумага меняется. — Ольга пожала плечами. — Бланки одинаковые, а печати разные.

— Ага, — сказала баба Нюра и положила свидетельство на стол.

Гриша уже писал.

Он всегда пишет, когда нервничает, и это лучше, чем когда он начинает считать вслух.

Считать он может долго.

— Фотография, — сказала баба Нюра. — Покажи фотографию.

Ольга показала фотографию.

Чёрно-белую, с белым уголком внизу, какие печатали в шестидесятых. На ней был мужчина в ватнике и кепке, и он стоял на крыльце, и крыльцо было наше.

Точнее, не наше. То есть наше, но не это: навеса не было, и сирень была по пояс, а теперь она выше крыши.

Рядом с мужчиной стояла женщина в платке. Она держалась за перила и смотрела не в объектив, а в сторону, будто её позвали и она обернулась.

Баба Нюра взяла фотографию.

Лицо у неё сделалось сначала недоверчивым, потом испуганным, потом — вот это было самое страшное — счастливым.

— Это он, — сказала она.

— Он, — сказала Ольга.

— Это он. — Баба Нюра провела пальцем по бумаге. — У него передний зуб сколотый. Он в детстве с крыши упал и зуб об камень.

Петровна наклонилась через плечо.

— Похож.

— Он.

— Похож, — сказала Петровна. — Я его маленького помню.

— Ты его никак не помнишь. Ты из Костромы приехала в семидесятом.

— Ну и что, — сказала Петровна. — Я его по рассказам помню.

На обороте фотографии было написано от руки: «Сосновка. Июнь шестьдесят четвёртого».

Баба Нюра прочитала это вслух, потом ещё раз, потом положила фотографию на стол и стала смотреть в окно, где не было ничего, кроме снега и темноты.

— Шестьдесят четвёртого.

— Он приезжал, — сказала Ольга. — Один раз. Ненадолго.

— И не зашёл.

— Не зашёл.

— Почему?

Ольга помолчала.

— Он не знал, как вы его встретите.

— Как я его встречу? — Баба Нюра сказала это тихо. — Я бы его встретила.

Маша смотрела на фотографию и вдруг заметила то, что потом оказалось важным.

На доме была шиферная крыша. Не железо, не дранка, а серый волнистый шифер, ровными полосами.

И наличники на окнах были резные, с зубчиками по краю.

Маша тогда подумала: красиво. И только.

А Поля подумала: странно. И промолчала, потому что не знала, о чём тут говорить.

Тут Бублик, который всё это время сидел под столом в ожидании чуда, решил, что чуда достаточно, и вышел на середину кухни.

Он посмотрел на бабу Нюру. Потом на Таню. Потом подошёл к Тане и положил голову ей на колено — так, как он делал только с теми, кого считал своими сразу.

— Чей это? — спросила Таня.

— Ничей, — сказала Поля. — Он общий.

— Как общий?

— По сердцу.

И Таня первый раз за вечер улыбнулась.

Не сильно, только глазами. Но Маша потом вспоминала это лицо, потому что человек, который полчаса сидел как восковой, вдруг стал настоящим.

Конверты Ольга развязала сама.

Она сделала это очень аккуратно, как развязывают то, что не хотят порвать, и разложила их на клеёнке в яблоках ровным веером.

— Восемь, — сказала баба Нюра.

— Восемь.

— Нет. — Баба Нюра покачала головой. — Он написал одно.

Все посмотрели на неё.

— Одно письмо. — Голос у неё сел. — В шестьдесят пятом. Я его тридцать лет перечитывала, пока оно не рассыпалось.

— Одно — вам, — сказала Ольга. — Остальные были у него.

— А откуда они у него?

— Он писал и не отправлял. — Ольга говорила тихо. — Он так и говорил: «Напишу, а потом соберусь духом». И собирался.

— Тридцать лет собирался, — сказала баба Нюра.

— Тридцать три, — сказал Гриша от стола.

Гришина мать однажды сказала, что у сына два таланта: считать и говорить правду в самый неподходящий момент. Иногда это один талант.

— Читать? — спросила Ольга.

— Нет, — сказала баба Нюра. — Не сегодня.

Она собрала конверты и уложила их обратно в папку, а папку прижала локтём.

Потом сказала:

— Ты поешь сначала.

Ольга не доела. Она вообще почти не ела — только держала ложку и иногда поднимала её, будто проверяла, что у неё в руках что-то есть.

Таня ела за троих.

— Голодная, — сказала баба Нюра.

— С дороги.

— С дороги, — согласилась баба Нюра. — Дорога у всех долгая.

А в половине восьмого к дому подъехала «Нива».

Услышали её раньше, чем увидели. У Вадима глушитель устроен так, что весь посёлок знает о его приезде за минуту, и все собаки успевают выяснять отношения.

— А этот чего тут? — спросил Гриша.

Клуб вышел на крыльцо.

Вадим развернулся, выключил мотор, потом посидел в машине секунду, как человек, который заходит в холодную воду.

— Здорово.

— Здорово.

— Анна Петровна дома?

— Дома.

— Дело есть.

— Какое?

— Разное, — сказал Вадим и пошёл мимо них в дом, и от него пахло бензином и тем запахом, который бывает у человека, когда он очень быстро ехал.

Он вошёл на кухню и даже шапку не снял. Стоял в дверях и оглядывал стол: баба Нюра, Петровна, Ольга, Таня, чугушки, папка.

— Так, — сказал Вадим. — Узнал, что у нас гости.

— У нас гости, — сказала баба Нюра.

— И, значит, документы показывали.

— Показывали.

— Можно посмотреть?

— Не можно, — сказала баба Нюра. — Хозяйка в доме я.

У Вадима дёрнулась щека. Это у него всегда так, когда ему говорят «не можно».

Он сел на свободный конец лавки. Никто ему не подвинулся, но он сел и стал сидеть.

— Анна Петровна, — сказал он. — Я не грабить приехал.

— Я знаю, чего ты приехал.

— А чего я приехал?

— Продать.

В кухне опять стало тихо.

— Ну, — сказал Вадим. — А хоть бы и так. Ну и что? Вы все сидите и смотрите, будто я что-то плохое говорю. А я вам говорю: если у седьмой доли есть хозяин, то дом продаётся.

— Дом не продаётся.

— Дом продаётся. — Вадим вдруг заговорил спокойнее. — Потому что есть документы, и есть человек, который может подписать. — Он кивнул на папку. — Ты восемь лет говорила, что брат пропал без вести. Пропал без вести — это не документ. А это — документ. И раз он документ, его надо не в клеёнку класть, а в сельсовет нести.

Баба Нюра молчала.

Маша потом говорила, что в эту секунду она и увидела, чего баба Нюра боится. Не Вадима. Не продажи. А того, что бумажка, которая сейчас лежит у неё под локтём, окажется просто бумажкой, и брата опять не будет.

— Я вам ничего не обещаю, — сказал Вадим.

— Чего? — спросила баба Нюра.

— Мне Ирина Викторовна сказала... — Он поправился: — В общем, когда есть наследник, так проще. Но и спросят больше. Надо, чтоб все были согласны. А у нас кто? Четверо в городе, Коростелёвы под расселение, ты, и теперь вот она. — Он показал на Ольгу. — Согласие надо. А согласия не будет.

— От кого не будет? — спросила Ольга.

Вадим посмотрел на неё.

— От Фёдора Ильича. Он мне в мае сказал: «Вадим, пока я могу поднять ложку, я дом не продам».

— Так и есть, — сказала Петровна.

— Вот и я говорю. — Вадим встал. — Я к чему приехал. Не к тому, что завтра продаём. Я к тому, чтобы вы тут, — он обвёл рукой кухню, — и вы, — он кивнул Ольге, — не начали договариваться сами.

— А почему не начать? — сказала баба Нюра.

— Потому что тогда меня обойдут.

Он сказал это без злости. Просто сказал, как считают вслух.

Петровна взяла табурет и переставила его к двери. Никто не сказал ни слова, но всем показалось, что стало на два градуса холоднее.

Вадим вышел, сел в «Ниву», завёл и уехал.

Снег в свете фар был белый и такой плотный, что казался тканью.

Домой шли все вместе. Бублик бежал впереди, падал в снег, вылезал и опять падал — такса в сугробах глубже двух сантиметров считает себя водолазом.

— Значит, так, — сказала Маша. — Я раскладываю.

— Что ты раскладываешь? — спросил Гриша.

— Всё.

— Пушкин был раньше, — сказал Севка.

— Чего?

— Про «всё». Это разложение.

— Севка, — сказала Маша, — я тебя лю...

— Не надо.

Тимка засмеялся и снял сугроб.

— Короче, — сказала Маша. — Сегодня мы узнали четыре вещи. Первая: она из Норильска. Вторая: у неё папка. Третья: у неё письма, и писем не одно, а восемь. Четвёртая: Вадим уже всё знает, и это самое плохое, потому что Вадим узнаёт новости раньше нас.

— А пятая? — спросила Вера.

— Пятой нет.

— Есть. — Вера остановилась. — Пятая: Таня держала руки под столом, когда читали про отца.

Все тоже остановились.

— И что? — сказала Маша.

— И то, что так делают, когда не хотят, чтобы их спрашивали.

— Вера, иногда ты как баба Нюра.

— Спасибо.

— Я не в плохом смысле.

Витя всю дорогу молчал.

А у своего забора вдруг сказал:

— Я у неё спрошу.

— Кого?

— Её. Таню. — Витя поднял на Машу глаза. — Если это правда, то у меня есть сестра. А если у меня есть сестра, я должен узнать это от неё, а не от твоей тетради.

— А если это неправда?

Витя подумал.

— Тогда я тоже должен узнать это от неё.

И ушёл, и долго не закрывал калитку, потому что у неё пружина слабая и её надо закрывать руками.

Ночью Маша долго не спала.

Она лежала и думала о бабе Нюре. О том, как та читала свидетельство с одной стороны, потом с другой. Как смотрела на номер бланка.

И о том, что писем, по словам бабы Нюры, было одно, а Ольга привезла восемь.

Объяснение было хорошее. Плохих объяснений Маша пока придумать не могла, и это её почему-то злило.

Утром ей предстояло узнать, что баба Нюра не будет спать всю ночь, а в девять позовёт их всех к себе — и не чай пить.

Глава 3. Свидетельство

Утром баба Нюра позвала клуб на девять.

Это была первая странность. Баба Нюра никогда и никуда не звала: у неё можно было сидеть на кухне, можно было сидеть на крыльце, а звать — это уже как в сельсовете, с повесткой.

— Она не спит, — сказала Поля, когда шли. — Я мимо ходила. У неё в кухне свет с шести.

— Она всегда встаёт в шесть.

— В шесть у неё темно. Она чай пьёт без света, чтобы экономить.

Пришли все, кроме Лёшки, который зимой вставал в одиннадцать и считал это законным. Даже Вера пришла, хотя ей было велено сначала вынести золу.

В доме пахло так, как пахнет там, где не спали: чаем, печкой и чужим пуховиком, который сушился у печки.

Ольга сидела за столом. Волосы у неё были собраны, лицо вымыто, и она выглядела бодрой — только под глазами осталось то, что у взрослых остаётся даже после умывания.

Тани не было.

— Спит, — сказала Ольга. — Мы вчера почти не спали.

— Почему? — спросила Поля.

— Дорога.

— Дорога была вчера.

Ольга посмотрела на неё и улыбнулась.

— Ты всегда так?

— Как?

— Не отводишь глаз.

— Я их отвожу, — сказала Поля. — Просто сейчас не отвожу.

Баба Нюра поставила на стол папку.

— Вот, — сказала она. — Смотрите. Только руками не лапать.

— А можно? — спросил Гриша.

— Что «можно»?

— Смотреть.

Баба Нюра тяжело подумала.

— Можно, — сказала она. — Ты один раз живёшь. А бумажку я потом всё равно в сельсовет отнесу.

Гриша достал из кармана лупу.

Лупа была не игрушечная, а настоящая, с широкой ручкой, и он носил её с осени в кармане куртки вместе с маленькой отвёрткой, которая была нужна ему, по его словам, «для всего».

Стекло в лупе треснуло ещё в сентябре.

— Это ты её чем? — спросил Севка.

— Я ею открывал антресоль.

— Зачем?

— Мне надо было узнать, что там.

Поля засмеялась. Гриша посмотрел на неё поверх лупы и стал смотреть документы, и это было смешно ещё больше, потому что при лупе он поднимал брови.

— Гриша, — сказала Маша. — Ты похож на аптекаря.

— Я сосредоточен.

Свидетельство он положил на середину стола, под лампу.

— Значит, — сказал он. — Смотрю главное. Бумага, потом печать, потом номер. Кто трогал — руки убрал.

— Я его не трогала, — сказала баба Нюра.

— Я вас не просил.

— Ты сказал: руки убрал.

— Это была просьба ко всем.

— А я и говорю: я не трогала.

— Хорошо.

— Не спорь с матерью.

Гриша поднял глаза.

— Вы мне не мать, Анна Петровна.

— В моём доме я всем мать.

Маша потом рассказывала, что в этот момент она впервые поняла: взрослые ссорятся не для того, чтобы победить, а чтобы стало не так страшно.

— Так, — сказал Гриша. — Смотрите все. Восстановлю картину.

Он разложил три предмета: свидетельство, конверт и свой библиотечный формуляр — там был номер и штамп, и было с чем сравнивать.

— Первое. Свидетельство о рождении. — Он развернул книжечку. — Выдано в тысяча девятьсот девяносто девятом году.

Все молчали.

— И что? — спросила Маша.

— Таня родилась... — Гриша посмотрел в документ, — в марте. А бумага выдана в ноябре. Через восемь месяцев.

— Ну и что? — сказала баба Нюра. — Может, руки не доходили.

— Так не бывает. То есть бывает, но тогда пишут «повторное». Вот тут написано «повторное»?

Он провёл лупой по бумаге.

— Не написано.

Ольга откашлялась.

— Я её потеряла.

— Свидетельство?

— Да. — Ольга говорила спокойно. — Мы переезжали. Я ходила в загс, и мне выдали новое.

— А старая бумага?

— А старой бумаги нет. — Ольга развела руками. — Если бумага потеряна, её же не находят.

Гриша что-то записал.

— Записал, — сказал он честно. — Я не говорю, что вы врёте. Я говорю, что записал.

Это была его главная привычка, и из-за неё взрослые на него не сердились.

— Дальше, — сказал он. — Номер бланка.

Он поднёс лупу.

— «АБ четыреста семьдесят один, тысяча девятьсот тридцать девять».

— Ты сначала цифры называешь, а потом, сколько их, — сказал Севка.

— Иначе я путаюсь.

— Ты никогда не путаешься.

— Я так думаю, — сказал Гриша.

— АБ четыреста семьдесят один — девятьсот тридцать девять, — сказала Маша.

— Не надо было мне это говорить, — сказал Гриша и переписал номер заново, потому что Маша, сама того не зная, сказала вслух, как эти числа делятся.

Все засмеялись. Даже Ольга — на секунду, и сразу перестала.

— Ещё раз, — сказал Гриша, — и внимательно. «АБ» — это буквы. Буквы печатные, ровные. А вот цифры...

Он поднял лупу, отодвинул её и опять поднёс.

— Цифры другие.

— Как другие?

— Другим шрифтом. — Гриша ткнул пальцем. — Буквы вот такие, с закруглениями, у «А» засечка. А цифры без засечек, и «четыре» тут открытая — как на пакете с молоком.

Севка наклонился. Потом Поля. Потом все остальные, и получилось, что шестеро ребят и одна такса стоят над свидетельством и дышат в него, а баба Нюра держит лампу и терпит.

— Дайте я, — сказала она и надела очки.

Она смотрела долго.

— Ну, — сказала она.

— Ну?

— Ну, похоже, что ты прав.

— Но?

— Но я тебе вот что скажу, Гриша. — Она сняла очки. — В девяносто девятом году эти бланки печатали в типографии, а в типографии работал пьяный дядя Петя. Он тебе что хочешь напечатает.

Поля тихо приснула в кулак.

— И вообще, — сказала баба Нюра, — ты сам можешь пойти в сельсовет и спросить.

— Могу.

— Вот и сходи.

— Пойду.

— Только сначала поешь.

Он принялся за кашу с таким видом, будто ему объявили войну, а потом отменили.

Пока он ел, Маша смотрела на Ольгу.

Она сидела против окна, на свету, и впервые было видно её лицо целиком. Усталое, некрасивое и очень правильное. Такие лица бывают у людей, которые в жизни всё делают по расписанию и всё равно опаздывают.

— Ольга Андреевна, — сказала Маша.

— Да?

— А почему вы раньше не приезжали?

Ольга подняла брови, но не удивилась. Взрослые, когда им задают настоящий вопрос, сначала смотрят на того, кто спросил, а потом уже на своего ребёнка. Она посмотрела на Машу.

— Я не знала адреса.

— Как?

— Так. У него не было с вами связи. Он один раз собирался написать и не написал. — Она чуть запнулась на «вами». — В бумагах был адрес. Обратный, на конверте. Я приехала.

— А чего так долго? Он же умер в девяносто восьмом.

— Двадцать шесть лет, — сказала Ольга.

— Двадцать шесть лет.

— Я работала. — Она сказала это очень просто. — Работала, чтобы у Тани было что есть. Потом у меня стало что есть, я посмотрела на календарь и увидела, что я уже старая, а она ещё маленькая, и что я ничего ей про отца не расскажу, если не поеду.

— А вы ей что говорили?

Ольга помолчала.

— Что его зовут Алексей. Что он на Севере.

Маша тогда ничего не сказала. Но когда вышли на крыльцо, сказала Грише:

— «На Севере» — это не рассказ. Это адрес.

— И что?

— И то, что если человеку одиннадцать лет и ему двадцать пять лет говорят только адрес, он остальное додумывает сам. — Маша подышала на вареники. — А потом приезжает и носит это с собой.

Она тогда ещё не знала, что говорит про Таню. Это она поймёт через три недели, и ей будет очень стыдно.

Таня вышла к третьему часу.

Она закуталась в мамину кофту, пришла на кухню, сказала «здравствуйте всем», посмотрела на стол, на тетради, и осторожно села на крайний табурет.

Бублик подошёл к ней первым.

Он обнюхал её валенок, потом сел и посмотрел на неё снизу вверх, как смотрят фотографы, когда просят не шевелиться.

— Он меня помнит, — сказала Таня.

— Он всех помнит, — сказала Поля.

— Всех?

— Кто ест.

— Я вчера почти не ела.

— Он и по вчерашнему помнит.

Таня засмеялась — вдруг, коротко, и сразу испугалась своего смеха, будто это было непозволительно.

Витя, который стоял у печки и молчал, вдруг сказал:

— А ты знала, что у него день рождения третьего сентября?

Таня повернулась.

— У кого?

— У деда. У Алексея Петровича. — Витя сказал «у деда» и сам на этом слове запнулся.

— Третьего сентября.

В доме стало очень тихо.

— Я не знала, — сказала Таня.

— А вот не знала, — сказал Витя.

Это было сказано не зло. Это было сказано страшно.

Маша под столом наступила ему на валенок, но было поздно: Витя вышел из кухни, и хлопнула дверь, и в сенях что-то упало, потому что там всегда что-то падает, когда кто-то уходит быстро.

Таня смотрела ему вслед.

— Он что, правда её брат? — тихо спросила она у Поли.

— Кто? Витя?

— Нет. Он. Гуцин. Он что, был тут?

Поля не поняла вопроса.

— Кто? Где тут?

— Ну... в этом доме. — Таня обвела глазами окно, печь, клеёнку. — Он тут жил?

— Он ушёл в шестьдесят первом, — сказала Поля. — Ты что, знала и не знаешь?

Таня задумалась.

— Мне говорили, — сказала она. — Я забыла.

И потом это «я забыла», и то, как она это сказала, и то, что она при этом смотрела на свои руки, — всё это Поля запомнила. Поля всегда запоминала то, что все пропустили. Она не знала зачем. Теперь знала.

В сенях был Витя.

Он сидел на ящике с картошкой и ковырял его ногтем.

— Лезет в дом, — сказал он, когда вошли.

— Она не лезет, — сказала Маша.

— Все лезут. Ты лезешь. Лёшка лезет. И она.

— Вить.

— Чего?

— Ты же сам вчера сказал: «Если правда — у меня есть сестра».

Витя ничего не ответил.

— А если неправда — у тебя тоже никто не отнял.

— Отнял, — сказал он. — Если это неправда, она мне сейчас вот тут всё отняла.

Он показал на свой живот.

Маша тогда поняла, что Витя не про деньги. Витя про то, что он, человек, у которого нет ни отца, ни матери, а есть только бабушка и седьмая доля, вдруг оказался «одним из». А если этого «одного из» отменить, то надо возвращаться к тому, что было.

— Ладно, — сказала Маша. — Даю тебе две минуты.

— Зачем?

— Затем, что ты сейчас пойдёшь обратно и скажешь ей: «Я не то имел в виду». И мы тебе верим, что ты не то.

Витя посидел. Потом встал, отряхнул штаны и пошёл.

Клуб стоял в сенях и слушал, как он говорит на кухне:

— Я не то имел в виду.

В доме что-то упало. Видимо, Таня встала.

Вечером Гриша сидел у себя на кухне.

Он разложил на столе четыре листа и на каждом написал одно слово: бумага, печать, номер, дата.

— Ты что делаешь? — спросила мать.

— Протокол.

— Сказок тебе, что ли, не хватает?

— Не хватает, — сказал Гриша. — Мам, а у тебя свидетельство есть?

— Есть.

— Можно посмотреть?

Мать принесла своё свидетельство. Гриша посмотрел на него, потом на лист со словом «номер», потом на свидетельство Тани, переписанное в тетрадь.

И вдруг перестал двигаться.

— Гриш?

— Ага, — сказал он. — То есть нет.

— Что?

— Ничего. Я потом скажу.

Он закрыл тетрадь и ушёл в свою комнату, а мать потом говорила, что видела через дверь: он сидел на кровати с фонариком и опять открывал тетрадь, и что-то шептал, и считал по пальцам.

Знал бы он тогда, что за эти две строчки придётся столько объяснять.

А клуб ещё не знал, что завтра баба Нюра пойдёт в сельсовет, и что оттуда к ней придёт человек, после которого дом на Заводской станет не домом, а делом.

Глава 4. Восьмая доля

В сельсовет пошли на другой день утром, и пошёл весь клуб, потому что баба Нюра сказала: «Одну меня там съедят».

Бублика взяли на поводке.

— С собакой нельзя, — сказала женщина на входе.

— Это не собака, — сказала Вера.

Женщина посмотрела на Бублика.

— А кто?

— Это такса.

— Такса — это собака.

— Значит, нельзя, — согласилась Вера. — Тогда мы её оставим тут. У вас тепло?

Бублик сел и посмотрел на женщину так, как будто ему было очень жаль и её, и себя.

— Ладно, — сказала женщина. — Только в коридоре.

Ирина Викторовна сидела в кабинете с двумя шкафами и одним окном, и на столе у неё стоял стакан с чаем и лежала папка.

— Это вы, — сказала она. — Я слышала.

— Что слышали?

— Что вы ищете хозяина. — Она открыла папку. — Дом номер семь по Заводской. Садитесь.

Все сели, а Бублик лёг под стол.

В коридоре у окна сидели две женщины и ждали.

Одна держала папку с бумагами, другая — трёхлитровую банку с огурцами, и было непонятно, зачем в сельсовет приносят огурцы.

— Нюра, — сказала женщина с папкой. — Ты чего тут?

— Я по делу.

— По какому?

— По своему.

Женщина с огурцами посмотрела на клуб и пересчитала глазами.

— Это чьи?

— Ничьи, — сказала баба Нюра. — Общие.

— Как это — общие?

— А вот так. Как воздух.

Женщина с папкой наклонилась и сказала шёпотом, который было слышно в другом конце коридора:

— Нюра, а правда, что к тебе приехали?

— Приехали.

— Кто?

— Люди.

— Какие люди?

— Обыкновенные. — Баба Нюра поправила платок. — С руками, с ногами, с папкой.

— А говорят, внучка.

— Говорят.

— И что?

— И то, — сказала баба Нюра, — что говорить все умеют, а считать — не все.

Женщина с огурцами поджала губы.

— Я вот слышала, — сказала она, — что она на документы приехала.

— На документы.

— И что дом теперь продадут.

Баба Нюра повернулась.

— Ты вот что, — сказала она. — Ты огурцы на стол поставишь или так и будешь держать?

— А что?

— А то, что если ты их принесла, значит, у тебя дело доброе. А если ты пришла языком, то иди с миром, у меня сегодня других дел.

Женщина замолчала.

Бублик в это время обнаружил под шкафом кота.

Кот был сельсоветский, толстый и совершенно спокойный, и он смотрел на Бублика так, как смотрят на молодёжь: без интереса, но и без неприязни.

Бублик зарычал.

Кот зевнул.

Бублик зарычал громче.

Кот перевернулся на спину и вытянул лапы — то есть сделал вид, что сдаётся, а на самом деле показал, что ему всё равно.

— Бублик, — сказала Поля. — Это не наше дело.

— Это его дело, — сказала Вера. — Он его выбрал.

— Надо его убрать.

— Нельзя. Он на службе.

— На какой службе?

— Он охраняет клуб, — сказала Вера. — От котов.

Гриша открыл тетрадь и записал: «Кот. Сопротивления не оказал».

— Ты зачем пишешь? — спросил Севка.

— Порядок, — сказал Гриш. — Всё, что было, — записывается. Иначе через месяц никто не вспомнит, что он был.

— Ты и про кота вспомнишь?

— Я всё вспомню.

Дверь кабинета открылась.

— Заходите, — сказала Ирина Викторовна. — И кота не трогайте, он кусается.

Бублик посмотрел на кота ещё раз — на всякий случай — и первым вошёл в кабинет.

— Сразу скажу главное, — сказала Ирина Викторовна. — Я не суд. Я ничего не решаю. Я могу только объяснить, как это устроено. Объясняю.

Она достала лист.

— Дом в общей долеговой собственности. Собственников семь, у каждого своя доля. Доли не равные, но это неважно. Важно, что дом нельзя продать целиком, пока хоть один не согласен. Продать можно только долю, и то с оговорками. Понятно?

— Понятно, — сказал Гриша.

— Дальше. Один из семерых — Гуцин Алексей Петрович. Он уехал в шестьдесят первом, и с тех пор о нём ничего.

— Мы знаем, — сказала Маша.

— Хорошо. — Ирина Викторовна посмотрела на неё. — Тогда вы знаете и то, что его доля до сих пор числится за ним. Её никто не принимал, не переоформлял и не делил.

— А почему?

— Потому что для этого нужно заявление. — Она подняла палец. — Заявление от того, кто имеет право. А пока заявления нет, доля висит. Как пальто на гвозде, с которого все ушли.

— И сколько она может так висеть?

— Смотря сколько ждать. — Ирина Викторовна помолчала. — Есть сроки, есть суды, есть такое слово, как выморочное имущество. Если хозяин не объявился и наследников нет, долю со временем могут признать выморочной и передать сельсовету.

— А если объявился?

— Тогда она его.

В кабинете стало тихо.

— Тётъ Ирин, — сказала баба Нюра. — А если объявилась не она, а её дочка?

— Дочка — это наследник первой очереди, — сказала Ирина Викторовна. — Дочка идёт первой.

— Значит, Таня.

— Значит, Таня.

Таня сидела на стуле у стены, и лицо у неё было такое, как будто её только что пересчитали, как деньги.

— А если документы неправильные? — спросил Витя.

— Тогда она не наследник, — сказала Ирина Викторовна. — И доля опять свободна.

— И дом можно продать.

— Дом можно продать.

Маша посмотрела на Гришу. Гриша посмотрел на Машу.

До этой минуты им казалось, что всё просто: приехали люди с бумагами, бумаги надо проверить, и если бумаги настоящие — всё хорошо.

Теперь получалось наоборот.

Если бумаги настоящие — Таня хозяйка.

Если бумаги поддельные — дом продадут.

— А сколько стоит доля? — спросил Севка.

— Вот это уже не ко мне, — сказала Ирина Викторовна. — Это к оценщику.

— А примерно?

— Примерно? — Она подумала. — Дом старый, участок хороший. Долю седьмого хозяина я бы оценила тысяч в сто. Может, чуть больше, если найдётся покупатель, который хочет именно этот дом.

Севка сел ровно.

— В сто тысяч.

— Примерно.

— И если бумаги поддельные, эти сто тысяч достанутся остальным?

— Если поддельные — доли пересчитают, — сказала Ирина Викторовна. — И их станет не семь, а шесть.

— А Таня?

— У Тани не будет ничего.

Таня сидела и смотрела в стол.

— Ясно, — сказала она.

Баба Нюра положила ей руку на плечо.

— Ты не того бойся, — сказала она. — Ты бойся, чтобы правда нашлась. А с остальным разберёмся.

— А если правда в том, что я не нужна? — спросила Таня.

— Тогда мы тебе скажем, что нужна, — сказала Поля. — И это будет правда, только другая.

Ирина Викторовна смотрела на них и молчала.

А потом сказала:

— Я вам вот что скажу, и больше ничего. Документы на долю сдаются не в сельсовет. Они сдаются туда, где выдаются. И принимают их только у заявителя. То есть у того, кто хочет свою долю получить.

— У Тани?

— У Тани, или у её матери, пока Тане нет восемнадцати. — Ирина Викторовна закрыла папку. — Пока документы лежат в чужом кармане, они не действуют. Понятно?

— Понятно, — сказала Маша.

— А они лежат в чужом кармане, — сказала Ирина Викторовна.

И это было не вопросом.

На обратном пути клуб шёл молча.

— Ну, — сказал Витя наконец. — Это плохо.

— Что?

— Всё. — Он поднял руку и стал загибать. — Первое: если документы настоящие, Таня хозяйка, и это хорошо. Второе: если документы настоящие, она может их сдать, и тогда дом не продадут. Третье: если она их не сдаст, дом всё равно не продадут, потому что пока доля висит, никто ничего не подпишет.

— Значит, вариант, при котором дом продадут, — сказал Гриша, — это только если бумаги поддельные.

Все остановились.

— Получается, — медленно сказала Маша, — чтобы защитить дом, надо доказать, что бумаги фальшивые.

— Получается так, — сказал Гриша.

— Но тогда Таня не хозяйка.

— Тогда Таня не хозяйка.

— И Вадим продаст дом.

— Нет, — сказала баба Нюра.

Все посмотрели на неё.

— Вадим без меня не продаст, — сказала баба Нюра. — У меня доля. И я её не даю.

— А если он найдёт такого, кто даст?

— Пусть ищет. — Баба Нюра подняла воротник. — Я его уже год хороню. Устала.

До вечера они не решили ничего.

А вечером к дому номер семь подъехала ещё одна машина.

Она была не серая. Она была красная, старая, с надписью на двери, но дети уже знали, что такие прозвища бывают не по надписи.

— Это он, — сказала Поля.

— Он, — сказала Маша.

Они стояли за углом и смотрели.

Вадим вышел, поправил куртку и пошёл в дом.

— К Ольге, — сказал Гриша.

— К Ольге.

— Тихо, — сказала Вера.

— Мы и так тихо.

— Ты дышишь.

— Я дышу нормально.

— Дыши тише.

Окно у Ольги выходило на угол, и в нём горел свет, и видно было не всё, а половину.

Видно было, как они сидят за столом.

Видно было, как Вадим положил на стол бумаги.

А потом он сказал, и звук шёл через щель, и они сначала не поняли, а потом разобрали:

— ...восьмая доля.

Маша подняла бровь.

— Восьмая?

— Их же семь, — шепнул Севка.

— Семь, — сказала Маша. — А он говорит восьмая.

Они слушали дальше.

— Я вам не враг, — говорил Вадим. — Я вам скажу как есть. Дом этот — балласт. Хотите — проверяйте, не хотите — не проверяйте, только я вам дам за это тридцать тысяч, и вы забудете, что сюда приезжали.

Кто-то из них — то ли Ольга, то ли Таня — сказал что-то, и было не разобрать.

— Тридцать, — сказал Вадим. — Я не жадный. Я вам объясню: если считать по-честному, доля ваша не седьмая, а восьмая. Дом на семь — это как? Это восьмая часть, если по площади. А по деньгам будет меньше, я не буду врать.

— Почему восьмая? — не понял Севка. — Почему восьмая?

— Потому что, — сказала Вера, — потому что он считает, как ему выгодно.

В доме опять заговорили.

А потом раздался голос, от которого дети пригнулись.

— Пошли, — сказала баба Нюра.

Она стояла у калитки.

— Баба Нюра, — начал Витя.

— Я не глухая. — Она смотрела на окно. — Я слышу, как он считает чужое.

И она пошла к двери.

Клуб пошёл за ней, а Бублик пошёл впереди всех, потому что такса в чужом дворе считает себя главнее человека.

В сенях было тесно.

— Нюра Кузьминична, — сказал Вадим.

— Не так зову.

— Нюра Петровна.

— Совсем не так.

Вадим вздохнул.

— Я не ссориться пришёл.

— А что ты пришёл? — Баба Нюра прошла в комнату и остановилась. — Ты пришёл приезжую женщину деньгами пугать. Восьмая доля. Надо же, посчитал.

— Я же по-хорошему.

— Ты по-хорошему второй год.

Ольга сидела за столом и держала в руках чашку, и чашка у неё ходила.

Таня стояла у стены.

— Я не взяла, — сказала Ольга.

Вадим повернулся.

— Она не взяла, — сказала Ольга громче. — Я не знаю, как вы вообще думали. Мы приехали не за деньгами.

— Все приезжают за деньгами, — сказал Вадим. — Я вот тоже. У меня, между прочим, три кредита.

— Мне неинтересно про кредиты, — сказала баба Нюра.

— А мне неинтересно, что дом стоит и ничего не делает! — Вадим развернулся, и лицо у него стало не такое доброжелательное. — Семь лет он стоит. Старик в него ходит. Ремонта нет, крыша течёт, печники такие, что жуть. Я один его тянуть не могу. Я тебе предлагал, я всем предлагал.

— Ты предлагал продать.

— Я предлагал по-честному.

— По-честному — это когда все согласны, — сказала баба Нюра. — А ты: шестеро за, значит, седьмого нет.

В комнате стало очень тихо.

— Ну, — сказал Вадим. — Значит, ничего не выйдет.

Он взял бумаги со стола.

— Тридцать тысяч, — сказал он Ольге. — Я не поднимаю. Подумайте. Но недолго.

И он вышел.

Слышно было, как хлопнула дверь машины, как завелось, как поехало.

— Вот, — сказала баба Нюра. — А теперь чай.

Чай пили втроём, а клуб стоял у стены и молчал.

— Ты правда не взяла? — спросила баба Нюра.

— Правда.

— А подумала?

Ольга молчала.

— Вот, — сказала баба Нюра. — Подумала. Значит, тридцать тысяч — это уже не ноль.

— Я не то думала.

— А что?

Ольга поставила чашку.

— Я думала, что если бумаги поддельные, — сказала она, — то лучше взять деньги, пока дают.

Таня у стены отвернулась.

— А если бумаги настоящие?

— Если настоящие, — сказала Ольга, — то я вообще ничего не понимаю.

Баба Нюра налила себе ещё.

— Ну, — сказала она. — Первый раз за вечер умное слово.

Домой шли по Заводской, и в окнах горело два огня: третье и седьмое, и было холодно.

— Восьмая доля, — сказал Севка. — Я всё равно не понял.

— Он хотел сказать, — объяснил Гриш, — что если её доля маленькая, то и деньги маленькие. Он даже не подумал, что она обидится.

— Почему?

— Потому что он считает доли, а не людей, — сказала Маша.

— А разве это плохо?

— Это удобно, — сказала Вера. — Пока считаешь, никто не виноват.

Около своих ворот Маша остановилась.

— Витя.

— Что?

— Скажи честно. — Она посмотрела на него. — Ты бы на её месте взял?

Витя долго думал.

— Я бы на её месте спросил, — сказал он. — За что тридцать?

— И что?

— И если бы мне не ответили, я бы не взял.

Маша кивнула и пошла домой.

А утром выяснилось, что Вадим поднял до тридцати пяти, позвонив по телефону в восемь сорок, когда все ещё завтракали.

— Он прибавил, — сказала Таня. — Пять тысяч за ночь.

— И что твоя мама?

Таня посмотрела на Машу.

— Мама сказала, что подумает ещё.

И это было хуже, чем «нет».

Глава 5. Таня

Таня пришла в клуб на третий день.

Она пришла сама, без мамы, и встала в дверях пристройки, и сказала:

— Можно?

Клуб сидел на ящиках.

— Можно, — сказала Маша.

— Я не помешаю?

— Помешаешь.

Таня не ушла.

— Тогда я постою, — сказала она.

И стояла.

Бублик обошёл её два раза, обнюхал валенки и лёг рядом, и это было как печать.

— Он тебя принял, — сказала Поля.

— А что, он мог не принять?

— Мог. — Поля показала на Севку. — Его принимал три недели.

— Я не виноват, что у меня ботинки, — сказал Севка.

Таня села на свободный ящик, и её приняли.

Первое, что Таня сделала в клубе, — это потеряла варежку.

Она сняла её, чтобы поздороваться, положила на ящик, а через минуту варежки не было.

— Бублик, — сказала Поля.

Бублик лежал у печки и смотрел в сторону так честно, что сразу стало ясно.

— Отдай, — сказала Таня.

Бублик не двинулся.

— Он не отдаст, — сказала Вера. — Он теперь её любит.

— Он её не любит, он её жуёт.

— Это у него одно и то же.

Варежку достали из-под печки, и она была мокрая и с одним большим зубом-следом.

— Извините, — сказала Таня.

— Ты чего извиняешься? — удивился Севка.

— Не знаю. Я всегда извиняюсь.

— Это надо прекращать, — сказала Маша. — У нас в клубе не извиняются. У нас в клубе доказывают.

— А если я не права?

— Тогда доказываешь, что не права, и все это принимают.

Таня посмотрела на неё с недоверием.

— Так бывает?

— Редко, — сказал Гриша. — Но бывает.

— Рассказывай, — сказала Маша.

— Что?

— Всё. По порядку.

Таня рассказала.

Она рассказывала долго и путано, потому что одиннадцать лет — это когда всё интересно и ничего не по порядку.

Она родилась в Норильске. Она видела море два раза. У неё была кошка Дуся, и Дуся ушла в подвал и не вернулась, и это было в мае.

— Не про кошку, — сказала Вера.

— А про что?

— Про деда.

Таня замолчала.

— Про деда я знаю всё, — сказала она.

— Всё?

— Всё, что рассказывали.

Она рассказала, что дед был высокий. Что у него была больная нога, и он ходил с палкой, а потом с двумя. Что он говорил не «здравствуй», а «здорово». Что он не любил суп, а ел, потому что нельзя выбрасывать. Что он называл её стрекозой, когда она была совсем маленькой.

— Погоди, — сказала Маша. — Какой маленькой?

Таня посмотрела на неё.

— Маленькой. Я и сейчас маленькая.

— Тебе одиннадцать. Ты родилась... — Маша остановилась и посчитала в уме. — Ты родилась, когда его уже не было.

В пристройке стало тихо.

— Да, — сказала Таня. — Ну и что.

— Как он мог тебя называть?

— Он меня не называл. — Таня сказала это спокойно. — Так мама рассказывает. Она говорит: он бы тебя так называл.

Клуб переглянулся.

— А ты?

— А я привыкла, — сказала Таня. — Когда тебе про кого-то рассказывают каждый день, он как будто есть.

Вера отвернулась и стала смотреть в стену.

— Каждый день? — тихо спросила Поля.

— Не каждый. Часто.

— А что именно?

Таня стала вспоминать, и получалось у неё плохо, потому что вспоминать чужое — это как пересказывать сон.

— Что он работал на железной дороге. Что у него были часы «Победа» и он их заводил перед сном. Что в Дудинке ветер, и он всегда ходил в одном и том же пальто. Что он говорил: «Ты не смотри, что я старый, я ещё приеду».

— Куда приедет?

Таня подняла глаза.

— Не знаю. Он так говорил.

Маша сидела очень прямо.

— А мама?

— Что мама?

— Твоя мама что говорит? Она его видела?

— Она жила рядом, — сказала Таня. — Он был сосед. Она ему носила суп.

— Сосед?

— Ну да. Она работала в столовой, и он не мог ходить, и она носила. — Таня пожала плечами. — Она всегда так говорит: «Я ему носила суп три года».

В пристройке стало очень тихо.

— Три года? — переспросил Гриша.

— Три года.

— А потом?

— А потом он умер, — сказала Таня. — И мама плакала. Она до сих пор плачет, когда про него говорит, только отворачивается.

Маша смотрела на неё и не знала, что сказать.

Всё сходилось и всё не сходилось.

Если Алексей Гушин — её дед, то почему мать Тани говорит о нём как о соседе?

А если сосед — то откуда свидетельство?

— А как ты узнала, что он твой дед? — спросила Вера.

Таня задумалась.

— Мне мама сказала.

— Когда?

— Осенью. — Таня почесала нос. — Мы сидели, и она сказала: «Таня, у тебя есть дед. Настоящий. Он умер, но он есть». И заплакала.

— И всё?

— И дала фотографию.

Таня достала из кармана фотографию.

Она была маленькая, тёртая, с белым уголком, и на ней был человек в пальто и в кепке, стоящий у стены.

Стена была кирпичная, за стеной был снег, а человек смотрел не в камеру, а куда-то вбок, как будто его позвали.

— Это он, — сказала Таня.

Севка взял фотографию и посмотрел на свет.

— Тут ничего не написано, — сказал он.

— На обратной стороне ничего нет.

— А на этой?

— Эта одна.

Маша взяла фотографию и стала смотреть.

Человек был старый. Не такой старый, как баба Нюра, а старый по-другому: ссохшийся, с длинными руками, и в глазах у него было то самое выражение, которое бывает у людей, которые давно живут одни и уже не ждут гостей.

— Похож на бабу Нюру, — сказала Поля.

— Не похож.

— Глаза похожи.

— Глаза у всех похожи.

Фотография пошла по кругу и вернулась к Тане, и Таня убрала её в карман, и это было как будто она что-то спрятала обратно.

— Ладно, — сказала Маша. — Ещё вопрос. Ты знала, что у него был дом?

— Какой дом?

— Тот, на Заводской. Семь окон.

Таня посмотрела на неё.

— Нет, — сказала она. — Я думала, что у него была комната.

— Почему комната?

— Потому что мама говорила «комната». — Таня нахмурилась. — Она говорила: «У него была комната и окно, из которого видно трубу».

Клуб молчал.

— А про дом?

— Про дом — нет. — Таня подумала. — Один раз сказала: «У нас был дом». Но я решила, что это в Норильске.

Витя встал и прошёлся по пристройке.

— Вот этого не бывает, — сказал он.

— Чего?

— Так не бывает. — Он остановился. — Если у человека есть дом и в доме семь окон, он про него рассказывает. Он не рассказывает про комнату.

— Может, он и не рассказывал, — сказала Вера.
— Тогда откуда мама знает про окно и трубу?
— Потому что она у него была.
— Тогда она была в доме. — Витя повернулся. — А дом этот — здесь. И если она здесь была, она должна была сказать.
Таня смотрела на него и молчала.
А потом сказала очень тихо:
— Она не любит про это говорить.
— Почему?
— Не знаю. — Таня пожала плечами. — Я спрашивала. Она говорит: «Потом».
— Когда потом?
— Вот это и плохо, — сказала Таня. — Что «потом» бывает всегда.
Маша встала.
— Ладно, — сказала она. — Тогда так. Ты будешь нам помогать?
— В чём?
— Во всём.
Таня посмотрела на неё, и в лице у неё что-то изменилось.
— А вы мне верите? — спросила она.
— В этом и дело, — сказала Маша. — Мы ещё не знаем, верить или нет. Но пока не знаем — будем вместе.
— Это как?
— Это значит, что мы будем искать правду, — сказала Поля. — И если правда окажется, что ты не Гущина, мы всё равно не будем тебя выгонять.
— Почему?
— Потому что ты уже сидишь на ящике, — сказал Севка.
Таня засмеялась, и это был первый раз, когда она засмеялась при них по-настоящему, а не из вежливости.
— Ладно, — сказала она. — Я согласная.
— Согласна на что?
— На всё. — Она вытерла нос. — Только у меня одно условие.
— Одно?
— Я хочу посмотреть письма.
Клуб переглянулся.
— Письма у бабы Нюры, — сказала Маша. — И они личные.
— Я знаю. — Таня смотрела прямо. — Но они мои.
Спорили весь вечер.
Поля говорила, что чужие письма читать нельзя.
Витя говорил, что они не чужие, а Танины.
Гриш говорил, что надо спросить у той, кому они адресованы, а не решать за неё.
Вера говорила, что можно прочесть вслух только то, что не про любовь.
— А как мы узнаем, что не про любовь, если не читаем? — спросил Севка.
— Вот в этом и проблема, — сказала Вера.
Пошли к бабе Нюре.
Она сидела на кухне и чистила картошку.
— Письма? — Она не подняла головы. — Какие письма?
— Те, что привезла Ольга.
— Они не у меня. — Баба Нюра бросила картошку в кастрюлю. — Они у неё.
— А у вас?
Баба Нюра вытерла руки и встала.

— У меня одно, — сказала она. — Идёмте.

Она достала с полки жестянку из-под печенья, с выцветшей картинкой и погнутой крышкой, и поставила её на стол.

В жестянке лежал один конверт.

Он был в таком состоянии, что его нельзя было взять за угол: бумага крошилась, как сухой лист, а по сгибам была подклеена прозрачным скотчем, пожелтевшим от времени.

— Вот, — сказала баба Нюра. — Шестьдесят пятый год. Я его тридцать лет перечитывала, пока он не начал рваться. А потом перестала.

— Почему?

— Потому что стало рваться.

Клуб смотрел на конверт, как смотрят на что-то, что нельзя ронять.

— А остальные семь? — спросила Поля.

— Остальные — у неё.

— Вы их видели?

— Видела. — Баба Нюра села. — Один раз, в тот вечер. И больше не просила.

— Почему?

— Потому что не могла. — Она посмотрела в стену. — Она мне их показывает, а я смотрю и думаю: он писал восемь раз, а я получила один. И я не знаю, что мне с этим делать.

Таня стояла у двери и не садилась.

Пошли к Ольге.

Та сидела в комнате и что-то складывала в сумку, и когда они вошли, убрала руки.

— Мы хотели спросить, — сказала Маша.

— Спрашивайте.

— Можно мы прочитаем письма?

Ольга долго молчала.

— Можно, — сказала она.

— Все восемь?

— Все восемь. — Ольга взяла папку и положила на стол. — Только читайте вслух. Я не могу.

Письма высыпали на клеёнку.

Баба Нюра поставила рядом свою жестянку и своё единственное письмо, и оно лежало отдельно, как будто было не такое, как остальные.

— Восемь, — сказал Гриша и пересчитал. — И одно ваше. Всего девять?

— Нет, — сказала Ольга. — Ваше — это одно из этих восьми.

— Как?

— Я его отдала ей, — сказала Ольга. — В тот вечер. Я же говорю: я всё отдала.

Баба Нюра не подняла глаз.

Маша взяла верхний конверт.

— Это которое?

— Не знаю. — Ольга отвернулась. — Я их не читала.

Клуб замолчал.

— Как не читала? — спросила Таня.

— Вот так.

— Мама... — Таня сказала это тихо. — Они же к нам.

— Они не к нам, — сказала Ольга. — Они к ней.

В комнате стало тихо так, что было слышно, как в печке оседает уголь.

— Ладно, — сказала Маша. — Тогда по-честному. Читаем по одному. Вслух. По кругу.

— И записываем даты, — сказал Гриша.

— И складываем обратно, — сказала Вера. — В тот же конверт.

Баба Нюра встала.

— Читайте без меня, — сказала она.

— Опять?

— Опять. — Она надела платок и остановилась в дверях. — Я их слышала один раз в жизни. Мне хватило.

И вышла, и дверь за ней закрылась очень тихо.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.